

Панаев И.И.: Литературные воспоминания
Часть вторая (1839—1847). Глава I

Глава I^[6]

Москва. – Знакомство с кружком Белинского. – Семейство С. Т. Аксакова. – Белинский и Константин Аксаков. – Обеды и вечера у Аксаковых. – И. Е. Великопольский. – Бал, данный им на Пресненских прудах, и иллюминация. – М. Н. Загоскин. – Обед у него. – Моя поездка с ним на Воробьевы горы. – Мочалов в «Гамлете» и «Отелло». – Предложение Погодина. – Вечера у Мельгунова. – Павлов и Хомяков, рассуждающие о Милькееве. – Чтение «Тоски по родине» у Аксаковых. – Моя статейка о Москве в «Литературных прибавлениях к Инвалиду». – Разговор мой с К. С. Аксаковым на берегу Москвы-реки у Драгомиловского моста.

...Всякий раз, когда я выезжал из Петербурга, мне становилось легче. Я родился и провел большую часть моей жизни в Петербурге, но никогда не чувствовал к нему особенной привязанности... В Москве я бывал несколько раз ненадолго, проездом. Ее оригинальность, живописность, ее разметанность по холмам, картина Замоскворечья из Кремля, ее исторические памятники, хотя подштукатуренные и выбеленные, вся ее внешняя обстановка возбуждала во мне всякий раз неопределенное поэтическое ощущение, и я начинал питать к ней невольную привязанность... Ко всему этому рассказы Кольцова о кружке Белинского так и притягивали меня к Москве... Москва представлялась мне после этих рассказов в упоительном свете; и теперь, когда она вытягивалась передо мной сквозь пыль с своими бесчисленными куполами и колокольнями, вся залитая лучами солнца, сердце мое сильно забилося и даже слезы выступили на глазах. Мне казалось, что в ней я найду все то, к чему неопределенно стремился, чего смутно и беспорядочно искал, что неясно предчувствовал...

В это время я отчасти уже понимал дикость барства, среди которого я вырос и воспитался. Барская жизнь, барские воззрения, замашки и привычки, барская нравственность нередко смущали меня; но я не останавливался еще ни разу серьезно на самом себе и тупо отдавался всем мелочам праздной, внешней жизни, всей ее пустоте и суетности. Самое легкомысленное тщеславие еще двигало моими поступками. Мне, например, доставляло большое удовольствие знакомство с каким-нибудь титулованным светским господином, хоть самым пустейшим из пустейших; я хлопотал о том, чтобы попасть в великосветский салон, и, попадая в него, ощущал себя почти счастливым, несмотря на то, что в салоне мне было и неловко и душно. Если бы не отсутствие во мне необходимого для света внешнего блеска, если бы не врожденная робость и не страсть к литературе, которая в то же время все сильнее развивалась во мне, я отдался бы вполне и безусловно светской жизни...

Общественные вопросы и политическое движение были совершенно чужды мне, да они почти совсем не занимали в 30-х годах даже передовых людей в литературе, хотя память о наших политических мучениках должна бы, казалось, невольно наводить молодое поколение на эти вопросы. Стоны из сибирских рудников не могли не доходить до него. Реакция после 14 декабря была страшная, все присмирело и оцепенело, запуганное большинство предалось личным интересам – взяточничеству, грабежу и удовлетворению своего чиновнического самолюбия, замаскированного верноподданническими чувствами; незначительное меньшинство мыслящих людей нашло себе примирение и успокоение в немецкой философии и отыскивало в ней данные для возвеличения самодержавного произвола; даже Белинский – по преимуществу, революционная натура – приводил в каком-то дурмане экстаза слова из «Ричарда II» шекспирова, что

...Елей с помазанного короля
Не могут смыть все волны океана...

И. Панаев

Литература способствовала общественной дремоте, занявшись исключительно искусством и ратуя с дон-кихотскою яростью за нелепый принцип «искусства ради искусства»,

– принцип, который снова, но уже без всякого успеха возобновлен был в наше время бессердечными и празднословными литературными джентльменами.

В такую неблагоприятную для моего развития минуту сошелся я с Белинским и его друзьями. Тогда, впрочем, я не сознавал этого и тотчас же безусловно подчинился их авторитету. Каждое их слово сделалось для меня законом.

Когда я подъезжал к Москве, сердце мое билось сильно и радостно при мысли, что я через несколько часов увижу Белинского...

Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формулах, отыскивали примирения во всем – и в литературе и в жизни, примирения во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примириться; когда знаменитый принцип «искусства для искусства» возведен был ими в вечный закон, а отрицающие или не признававшие его предавались строгой опале, как люди тупоумные, лишённые эстетического чувства...

* * *

Я уже говорил о моем первом свидании с Белинским... Через несколько времени после этого я познакомился с некоторыми из его друзей у Боткина, с которым Белинский был в то время в размолвке...

* * *

...Дом Боткиных расположен на одном из самых живописных мест Москвы. Из флигеля, выходящего в сад, в котором жил тогда Боткин, из-за кустов зелени открывалась часть Замоскворечья. Сад был расположен на горе, в середине его беседка, вся окруженная фруктовыми деревьями...

В этой-то беседке, в половине мая, в теплый, солнечный день, я встретил в первый раз Каткова, только что окончившего курс в университете, но еще студентом сблизившегося с Белинским и его друзьями, которые видели в нем замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям... Ключникова, печатавшего свои стихотворения под буквой? и Бакунина... Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулативный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пылкий и в то же время беспокойный – все это поражало в нем с первого раза.

Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирает, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей.

Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о примирении и о прекраснодушии на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал, ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.

Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву логику,

другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа, – все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича. Каждый благоговейно вспоминал об нем. У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем и знакомил меня с его нежною, тонкою, симпатическою личностью... «Станкевич был душою, жизнью нашего кружка, – прибавил он в заключение, – теперь уже не то... Самое цветущее наше время прошло! Он своею личностью одушевлял и поддерживал нас. Бакунин, как ни умен, но он не может заменить Станкевича...»

Влияние Станкевича на Белинского было глубоко. Белинский всегда сознавался в этом. Первые критические статьи его, где выражался его взгляд на искусство и на жизнь вообще, писаны, без всякого сомнения, под влиянием Станкевича. «В письмах Станкевича, – справедливо замечает г. Анненков, – можно найти намеки на все вопросы, занимавшие потом Белинского и более или менее приближенные им к разрешению»... Станкевич своей кроткой примиряющей натурой несколько смягчал и сдерживал кипучую натуру Белинского и хотел принудить его учиться языкам, особенно немецкому. Он предугадывал в Белинском сильного литературного бойца и хотел расширить его мирозерцание, но очень, повидимому, боялся его, как он полагал, излишней энергии... «Будь чем хочешь – хоть журналистом, хоть альманашником (писал он к нему в 1836 году) – все будет хорошо, только будь помирнее».

Развитию Белинского способствовало, кроме Станкевича и Бакунина, семейство последнего, в котором Станкевич и Белинский были приняты дружески. Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит, судя по рассказам Белинского и его друзей. Одна из сестер Бакунина, под влиянием мистического экстаза, доходила, говорят, иногда даже до видений. Бакунин имел, конечно, неограниченное влияние на своих сестер и братьев.

На Белинского, никогда не бывавшего ни в каком женском обществе, такое семейство должно было произвести с самого начала сильное впечатление. В сестрах Бакунина его поразил прежде всего их пылкий взгляд на жизнь, их стремление доискиваться разрешения самых отвлеченных вопросов и то нервическое раздражение, происходившее от мистического настроения, которое он принимал за поэзию.

Белинский, впрочем, кажется, недолго находился под этим обаянием. Он увлекался беспрестанно, но тотчас же отрывался, хотя не без боли, от своих увлечений. В то время, когда я с ним сошелся, он говорил о семействе Бакуниных с большим уважением и с большою симпатиею, но уже ясно видел то болезненное направление, которому отдались сестры Бакунина.

«Слава богу, я теперь отрезвился, – говорил он мне (это было после его последнего приезда из деревни Бакуниных), – отделался от прекраснотушия и мистических бредней и начинаю дышать легче и свободнее и вижу все яснее».

Белинский и не подозревал в эту минуту, каким болезненным направлением был одержим он сам и какой туман застилал глаза его.

К кружку Белинского принадлежал в это время и Константин Сергеич Аксаков.

Я не был знаком с семейством Аксаковых, но между нами существовала некоторая связь. Сергей Тимофеич Аксаков воспитывался в Казанском университете вместе с моим отцом и дядею, с которыми он был очень близок, особенно с последним... (Он часто вспоминает об них, рассказывая о своей гимназической и университетской жизни.) Я знал это и через два дня после приезда моего счел долгом отрекомендоваться Сергею Тимофеичу. Я отправился к нему так же четверней на вынос, как и к Белинскому.

С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием. Сергей Тимофеич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.

Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке. Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесенная в город. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до сих пор видеть в Москве... Дом Аксаковых и снаружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.

С. Т. Аксакову было в это время с небольшим 50 лет. Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятием его было ужение, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы. По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е. Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда еще Сергей Тимофеич не пользовался тою блестящею литературною известностью, которую, он приобрел впоследствии...

Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошелся с Константином Аксаковым. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.

Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка. Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Белинского долго от нападков своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз...

Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство... Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме. Русских, имевших несчастье родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.

В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошел до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности. Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между «Московским наблюдателем» Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием...

Единственною нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях...

Если бы я приехал в Москву пятью годами позже, – нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том еще неопределенном и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то, что я был рожден на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм к Москве. Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкой, перед Колоколом – и глазки его сверкали – он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой... «Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!» – вскрикивал он певучим голосом. Он возил

меня в Симонов и Донской монастыри, и когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностью и ее старинными церквями, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:

– Да! вы наш, москвич по сердцу!

Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться.

Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями. Старик Аксаков в последние годы отпустил бороду и ходил в русском кафтане с косою рубашкою, каким он изображен в «Портретной галлерее» г. Мюнстера. Портрет этот очень удачен.

Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без опоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником.

Белинский горячо любил Константина Аксакова. «Благороднейший, честнейший юноша, – говорил он об нем, – но в голове его какая-то узкость, китаизм, несмотря на глубину духа, а в характере неподвижность и упрямство».

Белинский предчувствовал, что они должны разойтись скоро.

* * *

В доме у Аксаковых я познакомился с Н. Ф. Павловым, его супругою Каролиною Карловной, урожденною Яниш, с М. Н. Загоскиным, который был тогда директором московских театров, с И. Е. Великопольским и с многими другими московскими известностями.

Великопольский имел собственный дом на Пресненских прудах. Однажды он давал в этом доме по какому-то случаю – а может быть, без всякого случая – бал и пригласил к себе всех своих старых и новых знакомых и в том числе меня и Белинского. С Белинским он познакомился через Аксаковых и, зная стесненное положение Белинского, нередко помогал ему. Белинский намекает об этом в одном из писем ко мне, напечатанных мною в «Воспоминаниях» моих об нем. Великопольский, человек с добрым и доверчивым сердцем, всю жизнь был увлекаем двумя пагубными страстями: к картам и к литературе; ни в литературе, ни в картах ему не везло. За одну из его драм цензор Ольдекоп был отставлен от должности, и благородный автор тотчас же предложил ему ежегодно выдавать его цензорское жалованье. Уволенный цензор отказался, кажется, от этого великодушного предложения. Эту драму Великопольский в начале сороковых годов читал нам в «Отеле Демута». На этом чтении присутствовал между прочими и С. Т. Аксаков, находившийся в то время в Петербурге. Перед чтением слушателям дан был роскошный обед... Чтение началось в 7 часов и продолжалось до полуночи. Насыщенные слушатели дремали и от времени до времени вздрагивали. С лица С. Т. Аксакова, сидевшего против самого автора, лился пот градом, он беспрестанно вытирал свой лоб и с некоторым ожесточением упирался о спинку стула, который трещал при этом напоре. Когда чтение кончилось и Сергей Тимофеевич встал со стула, стул совсем развалился. В карты Великопольского обыгрывал даже Пушкин, которого все обыгрывали, и потому, вероятно, великий поэт питал к Великопольскому какую-то ироническую нежность. В собрании сочинений Пушкина находится послание поэта к Великопольскому...

Часу в девятом я отправился на бал к Великопольскому вместе с К. С. Аксаковым и Белинским...

Дом Великопольского был набит битком гостями, оркестр гремел, танцы были во всем разгаре... Лакеи беспрестанно разносили разные прохладительные, конфеты и фрукты... Толпы любопытных собрались у дома. Сад на Пресненских прудах был также наполнен гуляющими. Белинский, К. Аксаков и я недолго оставались в комнатах, где была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Пресненские пруды. Когда стемнело, к изумлению нашему, часть Пресненских прудов была иллюминирована и импровизировалось народное гулянье. Около подъезда дома, на дворе, толпы густели; многие господа, не знакомые хозяину праздника, входили бесцеремонно в дом и угощались. Хозяин дома появлялся на крыльцо, разговаривал приветливо со стоявшими тут и отдавал приказание угощать всех лимонадом, оршадом и конфетами. Подносы появлялись даже на Пресненских прудах. Из толпы явился какой-то поэт и продекламировал стихи в честь великодушного хозяина... Все это было чрезвычайно оригинально.

– Вот какие праздники дают у нас в Москве! – воскликнул К. Аксаков, с торжественным, сияющим лицом обращаясь ко мне: – где вы увидите что-нибудь подобное?.. Не выражается ли в этом широкая, размашистая славянская натура? Как не любить нашу Москву, Иван Иванович, не правда ли?..

...К числу самых коротких людей дома Аксаковых принадлежал М. Н. Загоскин. Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические пословицы, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура – маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная – как-то невольно располагали к нему... Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый, основанный на преданиях, на рутине, и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с презабавною горячностью. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспаривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и наливались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице... Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха, – говорил он К. Аксакову, – завиральные идеи, взятые из вашей немецкой! философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит... Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово, – немцу смерть. Чорт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к матушке святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя потому, что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе, – ну, а уж твои приятели... Этих бы господ я...» Загоскин останавливался, сжимал руку в кулак и принимал энергическое выражение...

Загоскин разумел под приятелями Аксакова в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал. Ненависть его ко всему иностранному была забавна... «Пьют лафиты, – говорил он, – да разные иоганисберги и шато д'икемы и хвастают этим, а не знают, что у нас есть свое родное, крымское, которое ни в чем не уступит их д'икемам и лафитам».

Однажды Загоскин пригласил меня обедать. За обедом он усердно угощал меня красным вином. «Каково вино-то? – приговаривал он, – букет-то какой!» Вино мне действительно показалось недурным, и я похвалил его... «Ну, а какое это вино?» – спросил он, устремляя на меня пронизательный взгляд и улыбаясь. – Я не знаю... – отвечал я, – лафит, кажется?.. – «Ах вы, европейцы! – вскрикнул Загоскин, – лафит! лафит!.. Нет, милый, я с Депре с вашим не имею знакомства... Это вино чисто крымское, из винограда, созревшего на русской почве... Чем оно хуже вашего лафита?.. Да и Депре-то ваш ведь надувает, я думаю, вас: он продает вам втридорога то же крымское, выдавая вам его за какой-нибудь шато-ла – роз, а вы смакуете да восхищаетесь: какой лафит! 15 р. бутылка! – а мне эта бутылка стоит 3 р. 50 к.! Пора нам стряхнуть с себя иностранную, дурь!..» Загоскин не знал иностранных языков, но когда он сделался директором московских театров, он почел необходимым учиться по-французски и учился без учителя. Он просто выучил наизусть почти весь лексикон Ольдекопа (память у него

была удивительная) и говорил по-французски презабавно, большую часть без артиклей. Когда одна придворная дама в театре, в царской ложе, спросила у него бинокль, Загоскин начал отыскивать его по столам и стульям и метаться из угла в угол (он был очень рассеян) и потом, подойдя к даме, сказал: «Ублие, прянсес»...

Несмотря на мою близость с Белинским, Загоскин обнаруживал ко мне большую внимательность и расположение, вероятно потому, что встретил меня в доме С. Т. Аксакова, с которым он был очень дружен.

– Мы его сделаем москвичом, – говорил Загоскин Аксакову, ударяя меня по плечу. – Ему надо показать Москву во всей красоте. Я свезу его на Воробьевы горы.

Загоскин пригласил С. Т. Аксакова и меня обедать к себе. Он жил в Петровском парке на собственной даче. Тотчас после обеда был подан кабриолет и, к удивлению моему, с английской закладкой.

– Едем, едем... пора! – говорил мне Загоскин. – Эй, человек, шляпу, пальто!.. да не забыл ли я чего?

Он хватался за свои карманы, шарил на столе, не отдавая себе в рассеянности отчета, чего он ищет...

– Табакерка-то со мною ли? – спрашивал он у лакея... – Здесь, здесь! – кричал он, ощупав ее в кармане.

Наконец мы вышли на крыльцо. С. Т. Аксаков провожал нас. Загоскин сел в кабриолет и взял вожжи.

– Садитесь, садитесь скорей, – говорил он мне. Я сел... Лошадь поднялась на дыбы и рванулась.

– Не погуби, Михаил Николаич, молодого-то человека. Ты мне за него отвечаешь, – кричал нам вслед, смеясь, Сергей Тимофеич.

– Ничего, ничего, милый, – кричал Загоскин, – я доставлю тебе его в целости. Будь покоен!..

От Петровского парка до Воробьевых гор пространство огромное. Надобно проехать через всю Москву. До Триумфальных ворот мы проехали благополучно; но путешествие наше по Москве было сопряжено с опасностями на каждом шагу. Загоскин при каждой церкви опускал вожжи, снимал шляпу и крестился; лошадь начинала нести. Я замирал от страха и стыдился обнаружить его, но наконец не выдержал.

– Позвольте, я буду править, – сказал я Загоскину.

– Ничего, ничего, милый, не бойтесь... Это лошадь смирная, она уж знает мои привычки...

Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад.

– Нет, нет – не оглядывайтесь, – вскрикнул Загоскин, – мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву...

Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе...

– Ложитесь под это дерево, – сказал он мне, – и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший! вид...

Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, с своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда – озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез...

– Ну, что... что скажете, милый, – произнес он взволнованным голосом: – какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида. Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву, – может быть, но это все не то!.. Смотри, смотри!.. Ну, бога ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы?.. Иван – то Великий как высится... господи!.. Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево...

Загоскин снял очки, вытер слезы, наворачившиеся у него на глазах, схватил меня за руку и сказал:

– Ну, что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?

В экстазе он начал говорить мне «ты».

Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глазами, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то – все это сильно подействовало на меня.

– Благодарю вас, – сказал я Загоскину, – я никогда не забуду этого вечера.

Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал:

– Ты настоящий русский, ты наш, – только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш – малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца...

И он тыкал себя пальцем в левый бок...

С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта...

– Не знаю только, удастся ли, – говорил он: – надо пообождать немного. В эту минуту он никуда не годится, запил, каналья!

С. Т. Аксаков при всяком свидании с Загоскиным спрашивал: «ну, что Мочалов?..», получал неудовлетворительный ответ и приходил в бешенство...

– Погиб, кажется, окончательно этот великий талант! – восклицал он, ударяя кулаком по столу, – что с ним делать?

Сергей Тимофеич рассказал мне при этом, что он долго возился с ним и напрасно употреблял всевозможные усилия для того, чтобы пробудить самолюбие в Мочалове и оторвать его от грязной, невежественной жизни. Мочалову было неловко и дико в обществе образованных людей... Он давал им слово остепениться, благодарил Аксакова за участие, проклинал собственную свою слабость, несколько дней вел себя прилично, но потом вдруг незаметно исчезал, отдавался самому отчаянному кутежу с разными купчиками, напивался, буянил и кричал: «На колени передо мною! Я гений! Я Мочалов!»

– Теперь я уж махнул рукой на него, – прибавил Аксаков: – едва ли вам удастся видеть его в настоящем свете; а впрочем – кто его знает?.. У него вдруг, неожиданно еще до сих пор вырываются истинно вдохновенные минуты, особенно в «Гамлете».

– Ну, милый, я тебе привез приятную новость, – заговорил однажды Загоскин, входя в кабинет С. Т. Аксакова: – говорят, Мочалов приходит в себя... Мы дадим для него «Отелло» и «Гамлета» (он указал на меня)... Только крепко боюсь я за него. Едва ли он надежен...

– Бог даст, ничего, – заметил Сергей Тимофеич: – в целом не выдержит, так, может быть, минутами будет хорош...

Через несколько дней после этого на афише появился «Гамлет» с Мочаловым. Сергей Тимофеич ждал этого спектакля с большим волнением, между страхом и надеждою...

Я вместе с ним сидел в директорской ложе. Загоскина не было при начале спектакля... Перед поднятием занавеса Сергей Тимофеич произнес с беспокойством: «посмотрим, что-то будет!»

По окончании первого акта Сергей Тимофеич посмотрел на меня грустно и, покачивая голову, произнес: «нет – из рук вон плох». Во время второго акта, в сценах, где появлялся Гамлет, Аксаков уже едва сдерживал свое огорчение и негодование... Он с беспокойством поворачивался на своем стуле и шептал: «он совсем погиб!.. Еще никогда он не был так дурен в Гамлете. Его просто надо прогнать со сцены». Когда занавес опустился, Сергей Тимофеич вышел из ложи совсем встревоженный и наткнулся в комнате перед ложею с Загоскиным, который только что приехал.

– Какая гадость, – сказал он, обращаясь к Загоскину и задыхаясь от досады: – ведь смотреть, братец, нет никакой возможности...

– На кого? На Шекспира? – перебил Загоскин рассеянно и приглаживая у зеркала свои волосы... – То-то, милый, – продолжал он, – вы все кричите: Шекспир! Шекспир! Гений! гений! и считаете святотатством, если из него слово выкинешь; а его надо непременно сокращать, я это всегда говорил...

Аксаков вышел из терпения, схватил Загоскина за отвороты фрака и начал трясти его...

– Какой Шекспир! Ну какой Шекспир!.. Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нет возможности смотреть... Понимаешь?..

– А-а! – протянул Загоскин: – ну, да я предчувствовал, что он играть не может.

– Зачем же ты заставил его играть? Ведь на него жалко и стыдно смотреть. Это не Гамлет, а пародия на Гамлета!..

Загоскин вспыхнул.

– Да ведь ты же приставал ко мне: «скоро ли покажешь ты нам Мочалова? да когда ж велишь дать Гамлета?..» Ну, вот я и велел дать, а ты на меня же накидываешься.

После сцены с матерью в третьем акте Сергей Тимофеич не выдержал – махнул рукой и уехал...

Я тоже едва усидел до конца: ни одного вдохновенного проблеска, ни одного слова, вырвавшегося из сердца; неуместные вскрикивания, неловкость движений, нестерпимая бестактность в игре... «Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?..»

Я вышел из театра усталый, с неприятным, тяжелым впечатлением.

Через неделю после этого давали «Отелло».

В «Отелло» Мочалов был так же плох, как и в «Гамлете», только в сцене второго акта, когда Дездемона встречает его на острове Кипре, Мочалов обнаружил такую искреннюю нежность, такую бесконечность любви к своей супруге, что по этой сцене можно было догадываться, каким бывает он в лучшие, вдохновенные свои минуты на сцене. Голос его поразил меня своею симпатическою мягкостью, выражение лица – глубоким и истинным чувством.

Но мне так и не удалось видеть Мочалова в настоящем его свете.

– У меня завтра вечером, – сказал мне Сергей Тимофеич, – Загоскин читает свой новый роман «Тоску по родине». Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей...

Чтение началось со 2-й части, содержание первой автор рассказал нам.

Я сидел возле С. Т. Аксакова.

Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту... Вдруг этот приятно усыпляющий слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь... Я невольно встрепенулся... Место действия романа в Испании, – как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:

– Как хорошо это!

Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:

– Что это вы? – шепнул он мне: – ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..

После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:

– Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?

Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:

– А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..

И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия – верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина...

...Дни летели для меня в Москве весело, разнообразно и с быстротою невероятною. Мысль о том, что я должен месяца через два оставить Москву (мне необходимо было ехать по делам в Казанскую губернию), приводила меня в беспокойство.

– Если бы можно, я никогда не расстался бы с Москвою! – говорил я Константину Аксакову...

– Да переезжайте совсем к нам, – возражал Аксаков: – у вас нет ничего общего с Петербургом.

Мы говорили вполголоса. В нескольких шагах от нас у окна (это происходило в гостиной Аксаковых) стоял Сергей Тимофеевич с М. П. Погодиным, с которым я еще не был знаком.

– Вот, Михаиле Петрович, – сказал Константин Аксаков, подводя меня к нему, – петербургский литератор, который в восторге от нашей Москвы.

Аксаков взглянул на меня с любовью и представил меня Погодину.

Погодин протянул мне руку.

– Очень рад с вами познакомиться... А «Отечественные записки», – сказал он через минуту, обращаясь ко мне, – прекрасный журнал, судя по вышедшим номерам. Молодец Краевский!.. Нам бы соединиться вместе. Я охотно отдал бы ему мой «Москвитянин». Право. Напишите-ко ему об этом... Мы не расходимся, кажется, во взглядах.

Первые номера «Отечественных Записок» вообще одобряли все известные московские литераторы. У постели тогда больного Н. А. Мельгунова довольно часто собирались по вечерам: Шевырев, Хомяков, Павлов (Н. Ф.), Конст. Аксаков и другие... Шевырев и Хомяков также очень хвалили журнал г. Краевского. Здесь я услышал в первый раз из уст самого автора стихотворение:

Гордись, – тебе льстецы сказали...

и т. д.,

которое производило в Москве фурор еще до появления в печати.

Кстати об этом стихотворении. Оно в июне 1839 г. было послано Н. Ф. Павловым к Краевскому для напечатания в «Отечественных записках»...

Осенью, по возвращении моем из Казани в Москву, я получил письмо Краевского (от 10 октября), в котором он между прочим писал мне:

...«Какова оказия! Пожалуйста, сообщите все следующее аккуратно Николаю Филипповичу (Павлову)... Начинаю ab ovo. Он летом прислал мне стихотворение Хомякова „Гордись, тебе льстецы сказали“. Я, как расчетливый человек, отложил напечатание его до осени. Настал сентябрь; я представляю это стихотворение в цензуру. Цензор и ценсурный комитет вычеркивают стих: „Скажи им таинство свободы“. Заменить этого стиха я ничем не осмелился и потому написал к Николаю Филипповичу, чтоб спросил на сей казус решение самого Хомякова. Пока я жду, вдруг, ровно неделя тому назад, является в 230 No „Санктпетербургских ведомостей“ (академических) это же стихотворение Хомякова под названием „Отчизна“, без подписи имени автора и со стихом, у меня вычеркнутым, но только без тех шести стихов, которыми Хомяков заменил находящиеся в середине два стиха:

А твой завет, твое призванье,
Твой богом избранный удел...

и которые в доставленной мне рукописи написаны рукою Николая Филипповича. Это изумило меня! Я тотчас же пишу письмо к князю Дондукову (тогдашний попечитель санктпетербургского округа и председатель ценсурного комитета) и прошу позволения напечатать стихи Хомякова в том виде, как они ко мне присланы и с примечанием; он позволил (они помещены в 10 книжке); но на другой же день в 231 No „Санктпетербургских ведомостей“ помещена поправка, в которой сказано, что „Отчизна“ написана Хомяковым... „Инвалид“ и даже „Губернские санктпетербургские ведомости“ перепечатали это стихотворение прежде „Отечественных записок“. Что все это значит? Не растолкует ли Николай Филиппович?

Если же подобная штука сделана без воли Хомякова, то надобно, чтобы он написал сам к Дондукову письмо, в котором жаловался на подобное своеволие; иначе ни одна статья наша

не будет безопасна от такого грабительства. Я этого дела здесь разыскать не могу, ибо не имею сношений ни с Очкиными, ни с какою этою...»

Я передал все это Павлову; но каким образом разъяснилась эта штука, по выражению Краевского, я не помню.

Однажды ночью мы возвращались от Мельгунова пешком домой по бульварам: Павлов, Хомяков и еще не помню кто-то... Разговор между Павловым и Хомяковым был необыкновенно одушевлен. Предметом его был некто Милькеев, издавший незадолго перед тем, под протекциею Павлова и Хомякова, небольшое собрание своих стихотворений, которые теперь никому не известны, кроме записных библиографов. Павлов и Хомяков были тогда в восторге от громких стихов Милькеева и считали его одною из самых блестящих надежд русской литературы. Каролина Карловна Павлова, уже известная тогда своим поэтическим даром и альбомом, в котором ей написал что-то сам Гете, – удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, кажется, было в это время двадцать два или двадцать три года. Это был талант-самородок, как выражались тогда; он не имел почти никакого образования и вовсе не знал иностранных языков. Николай Филиппович Павлов, как человек светский, доказывал, что Милькеева необходимо заставить учиться по-французски, что французский язык доставит ему возможность сблизиться с порядочным обществом, которое будет способствовать к его развитию... Хомяков горячо возражал против этого, говоря, что ни французский язык, ни общество не могут принести ему ровно никакой пользы, напротив – вред; что его надо принудить заняться серьезно немецким языком, что знакомство с немецкой литературой и философией расширит его мирозерцание. Спор был горячий; спорящие не хотели уступать друг другу и расстались, не решив участь гения-самородка... Через полгода после этого к Милькееву совершенно охладели, и он вскоре умер... если я не ошибаюсь, в крайней бедности.

Когда я рассказывал об этом споре за Милькеева Белинскому, Белинский грустно улыбнулся.

– Вот чудачки-то! – воскликнул он, – вместо того чтобы спорить об нем и издавать его стихотворения, не имеющие ничего, кроме риторических фраз, лучше бы просто помогли бедняку. Они ему сделали большой вред... Он по их милости возмечтал о себе бог знает что! Да если бы он имел и действительный поэтический талант, так и тогда бы он умер с голоду, потому что за стихи не платят. Павлов хочет сделать его светским человеком, Хомяков мыслителем, – а ему прежде всего нужен кусок насущного хлеба и средства, чтобы добыть его.

* * *

После поездки моей с Загоскиным на Воробьевы горы я написал восторженную, то есть исполненную реторики, статейку о Москве, с восклицательными и вопросительными знаками, бесчисленными точками и со всевозможными эпитафиями о Москве из Дмитриева, Грибоедова, Пушкина и других. Она была напечатана в «Литературных прибавлениях к Инвалиду» г. Краевского. Статька эта, впрочем, была искрення, несмотря на риторические фразы, и ею я приобрел себе еще большее расположение семейства Аксаковых.

Константин Аксаков был очень доволен ею, обнимал меня и крепко жал мне руки.

Вечером в тот день, когда он прочел ее, мы отправились с ним бродить по Москве и, утомленные, расположились, наконец, отдохнуть на береговом скате Москвы-реки, в виду Драгомиловского моста.

Мы лежали на траве без сюртуков. Дневной жар начинал спадать понемногу. Легкий вечерний ветерок приятно освежал нас... Закат был великолепный.

– Есть ли на свете другой город, – говорил мне Константин Аксаков, – в котором бы можно было расположиться так просто и свободно, как мы теперь?... Далеко ли мы от центра города, а между тем мы здесь как будто в деревне. Посмотрите, как красиво разбросаны эти домики в зелени на горе... В Москве вы найдете множество таких уединенных и живописных уголков,

даже в нескольких шагах от центра города... Вот ведь чем хороша Москва! Я не понимаю, как можно жить в вашем холодном гранитном Петербурге, вытянутом в струнку?.. Нет, оставайтесь у нас; у вас русское сердце, а русское сердце легко может биться только здесь, среди этого простора, среди этих исторических памятников на каждом шагу... Как не любить Москву!.. Сколько жертв принесла она для России!...

Аксаков постепенно одушевлялся и, заговоря об этих жертвах, вскочил с земли; глазки его сверкали, рука сжималась в кулак, голос его делался все звучнее...

– Пора нам сознать нашу национальность, а сознать ее можно только здесь; пора сблизиться нам с нашим народом, а для этого надо сначала сбросить с себя эти глупые кургузые немецкие платья, которые разделяют нас с народом (и при этом Аксаков наклонился к земле, поднял свой сюртук и презрительно отбросил его от себя). Петр, отрывая нас от нашей национальности, заставлял брить бороды, мы должны теперь отпустить их, возвращаясь к ней... Так-то, Иван Иванович! – сказал Аксаков в заключение, кладя свою широкую ладонь на плечо мое, когда я приподнялся с травы: – бросьте Петербург, переселитесь к нам... Мы славно заживем здесь. Не шутя, подумайте об этом.

Он натянул на себя узкий немецкий сюртук, который как-то неловко сидел на его коренастой фигуре, и мы отправились домой, когда уже солнце совсем село...

...Лет через пять после этого Константин Аксаков наделал в Москве большого шума, появившись в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке.

На одном бале (это было в сороковых годах) он подошел, говорят, к известной тогда в Москве по своей красоте К.

– Сбросьте это немецкое платье, – сказал он ей: – что вам за охота носить его? Подайте пример всем нашим дамам, наденьте наш сарафан. Как он пойдет к вашему прекрасному лицу!..

В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан.

Князь Щербатов улыбнулся...

– Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны? – возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова.

– Да! – сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак, – и почему же не так?.. Скоро наступит время, когда все мы наденем кафтаны!

Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться.

– Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым? – спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены.

– Право, я не знаю хорошенько, – отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь, – кажется, Константин Сергеич уговаривал военного губернатора надеть сарафан... что-то вроде этого...

Примечания

6. Эта вторая часть, как, вероятно, заметят читатели, еще более первой имеет отрывочный характер. Я печатаю только то, что нахожу возможным. Если бы тем из критиков, которые обратили внимание на мои «Литературные воспоминания», угодно было принять в

соображение то, что это только выборки из воспоминаний, – они, вероятно, судили бы меня снисходительнее.